



## ЧЕЛОВЕК, НАЗЫВАЮЩИЙ ВСЕ ПО ИМЕНИ

Литературная судьба Александра Блока была, на первый взгляд, на редкость благополучна. Он был признан с первой же книги, к тридцати годам считался первым поэтом эпохи, известным далеко за пределами литературной среды. После смерти поэта (увы, ранней) его слава никогда не подвергалась сомнению (если не считать отдельных случаев личного неприятия блоковской поэтики, как, например, у Иосифа Бродского), его стихи не запрещались и включались в школьную программу. Другое дело, способствовало ли такое благополучие пониманию поэзии Блока, не вело ли оно временами к автоматизации восприятия, к выпадению поэзии Блока из сферы «актуального».

Между тем значение Блока огромно — и не только потому, что он написал десятки лирических шедевров. Блок — своего рода связующее звено между двумя великими эпохами русской поэзии, между романтизмом и модернизмом.

Александр Александрович Блок родился 16 (28) сентября 1880 года в ректорской квартире Санкт-Петербургского университета. Ректором был его дед,

выдающийся ботаник Андрей Николаевич Бекетов (брат еще более выдающегося химика Николая Николаевича Бекетова). Мать Блока, Александра Андреевна (во втором браке Кублицкая-Пиоттух, 1860—1923) была плодотворной переводчицей, писательницами были и ее сестры, Екатерина и Мария. Отец поэта, Александр Львович Блок (1852—1909), юрист-теоретик, человек неуравновешенный, очень тяжело характера, позднее был профессором Варшавского университета. Брак родителей Блока распался вскоре после рождения сына и был официально расторгнут в 1889 году.

Бекетовы придерживались либеральных взглядов, характерных для интеллигенции, особенно для представителей естественных наук. Напротив, А. Л. Блок, пройдя сложную эволюцию, стал под конец жизни крайним консерватором, черносотенцем. У поэта Блока были непростые и изменчивые отношения и с интеллигентской либеральной традицией и выросшим из нее левым радикализмом, и с противостоящим тому и другому духовным консерватизмом.

Впрочем, отец в воспитании Александра принимал мало участия. С отчимом, офицером, позднее генералом Францем Феликсовичем Кублицким-Пиоттухом, у него сложились отношения добрые и уважительные, но не более того. Зато с матерью он был очень близок, и именно она была первой читательницей его отроческих стихов. Писал он с пяти лет, издавал вместе с двоюродными братьями рукописный

журнал «Вестник». И все же тогда, в 1890-е годы, Блок связывал свое будущее не с литературой, а с театром, мечтал стать актером и «умереть на сцене во время спектакля». Любительские спектакли в Шахматово, подмосковном имении Бекетовых, сблизили Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой, дочерью великого химика. В 1903 году она стала его женой, а до этого в течение нескольких лет была адресатом его любовной лирики. Эти стихи, создававшиеся начиная с 1898 года и составившие первую книгу Блока, «Стихи о Прекрасной Даме» (1904), требуют особого и сложного комментария: без понимания духовного контекста эпохи они до конца не понятны.

С начала 1890-х русское общество, особенно молодежь, ощущало воздействие разнородных духовных течений, которые условно назывались «декадансом», упадком — ибо так они выглядели в глазах позитивистски настроенной публики, как консервативной, так и либеральной. С 1894 года все большие с каждым годом позиции захватывает новая литературная школа — символизм. Для так называемых «старших» символистов (Брюсова, Бальмонта, Сологуба) новая школа была прежде всего комплексом приемов, позволявших передавать скрытые, неуловимые ощущения и впечатления, а «новое сознание» — путем к ничем не ограниченной и не скованной самореализации. Но для поэтов, дебютировавших около 1900 года, символы были средством постижения иного, скрытого от глаз, таинственного, мистического

мира. На Блока и его друзей (в том числе московского поэта и прозаика Андрея Белого, с которым он сблизился в 1903–1904 годы) огромное влияние оказала философия (а также поэзия) Владимира Соловьева (1853–1900). В мире этой философии огромное значение занимает образ Софии, Вечной Женственности — особого космического проявления божественной силы и мудрости. Для Блока и его окружения воплощением Вечной Женственности стала Любовь Менделеева. Юношеская влюбленность в нее Блока отождествлялась с поклонением этой сущности. При этом реальная Люба Менделеева, совершенно земная, жизнерадостная девушка, чуждая всякой спиритуальности, меньше всего годилась на эту роль. Неудивительно, что ее брак с Блоком (в котором почти отсутствовала сексуальная составляющая) трудно было назвать удачным в житейском смысле. Тем не менее он продолжался до конца жизни поэта; мистическое поклонение сменила глубокая и обоюдная человеческая привязанность. Блок готов был любить и воспитывать родившегося в 1909 году сына своей жены (биологическим отцом которого был не он) и трагически переживал его смерть в младенчестве. При том у поэта были многочисленные и разнообразные отношения с другими женщинами.

Переходя к стихам, мы сразу замечаем эту двойственность. Действие многих стихотворений происходит в двух измерениях. Например, в знаменитом «Вхожу я в темные храмы...» описываются свидания

Блока с Менделеевой в Казанском соборе, но в то же время это описание мистического служения Прекрасной Даме. Вот другой пример — «Мы встречались с тобой на закате...» (написанное, как и предыдущее, в 1902 году):

Были странны безмолвные встречи.  
Впереди — на песчаной косе  
Загорались вечерние свечи.  
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, стораний  
Не приемлет лазурная тишь...  
Мы встречались в вечернем тумане,  
Где у берега рябь и камыш.

Речь идет о вечерней лодочной прогулке вдвоем, но эта прогулка происходит в каком-то разреженном, мистическом мире, в котором люди и предметы обретают загадочные символические значения. (Что, к примеру, означают мысли «о бледной красе»? «Ты» — всегда и земная возлюбленная, и раскрывающийся в ней огромный и таинственный образ, и сам поэт признается: «..Страшно мне — изменишь облик ты». Житейских реалий и чувственно осязаемых описаний почти нет, но очень много расплывчатых, абстрактных слов и понятий («свет», «тьма», «сумрак», «лучезарность», «туманность»). И только исключительная интенсивность лирического переживания и тончайшее, изначально присущее Блоку чувство интонации заставляет этот хрупкий мир дышать:

Если бы злое несли облака,  
Сердце мое не дрожало бы...  
Скрипнула дверь. Задрожала рука.  
Слезы. И песни. И жалобы.

В конце жизни Блок признавался Владиславу Ходасевичу, что и сам перестал понимать тайнопись своих ранних стихов, забыл те сложные оттенки мистических переживаний, которые вкладывал в каждое из них. Тем более трудно распознать их нам. И все же стихи не утратили своего обаяния. Хотя, конечно, не надо забывать про особенности поэтической техники Блока. Чтобы создать шедевр, ему надо было написать десять, а то и больше стихотворений средних достоинств. Блок (и в особенности ранний Блок) нуждается в отборе, но этот отбор история литературы в целом уже произвела.

Поначалу Блок не испытывал особого стремления к публикации своих стихов. В 1898–1906 годы он учился в Санкт-Петербургском университете, сперва на юридическом, потом историко-филологическом отделении; диплом он получил (в отличие от многих поэтов-современников), но ни для чего практического этот диплом ему не понадобился. Одна из первых публикаций поэта состоялась в 1903-м в студенческом «Литературно-художественном сборнике». В том же году подборки стихотворений Блока появились в журналах «Новый путь» и «Северные цветы». О нем заговорили — сперва лишь как о подающем надежды поэте символистского лагеря. Все изменила первая кни-

га. Вокруг «певца прекрасной дамы» возникла легенда. Началась слава. В 1909 году Иннокентий Анненский писал: «Чемпион наших молодых — несомненно, Александр Блок». Впрочем, к тому времени с выхода «Стихов о Прекрасной Даме» прошло пять лет. Блок был уже другим поэтом, да и другим человеком.

Уже в стихах 1903–1904 годов, еще вошедших в «Стихи о Прекрасной Даме», поэтика и оптика резко меняется. Место зыбких и мягких образов-теней занимают образы странные, гротескные, порожденные городским, урбанистическим миром. Турманные преддверия рая оборачиваются маленьким адом.

По городу бегал черный человек.  
Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу.

Медленный, белый подходил рассвет,  
Вместе с человеком взбирался на лестницу.

Там, где были тихие, мягкие тени —  
Желтые полосы вечерних фонарей, —

Утренние сумерки легли на ступени,  
Забрались в занавески, в щели дверей.

Ах, какой бледный город на заре!  
Черный человечек плачет на дворе.

Здесь — опять все то же символистское двоемирие. Фонаричик оборачивается одним из населяющих город загадочных «карликов», рутинная жизнь фа-



бричного района (неподалеку от которого, на Петроградской набережной и на Лахтинской улице, жил поэт в те годы) приобретает inferнальный оттенок.

В еще большей степени это вторжение реальности со всеми ее спорящими между собой стихийными силами происходит в более поздних стихах, вошедших в зрелые книги Блока — «Нечаянная радость» (1907), «Снежная маска» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911), «Стихи о России» (1915), «Ямбы» (1919), «Седое утро» (1920). Эти книги легли в основу трехтомного собрания стихотворений (четвертый том включал драматические сочинения), первым изданием вышедшего в 1916 году. При этом «Стихи о Прекрасной Даме» составили первый том. Второй том — это стихи 1904–1907-го, в которых Блок с особенной безоглядностью отдает себя стихиям — как гармоническим, так и разрушительным. Особенно характерен в этом отношении цикл «Снежная маска» (1906–1907), вдохновленный романом с актрисой Надеждой Волоховой. Погружение в мир страсти здесь — поглощение снежным вихрем, гибельной бурей, растворяющей волю.

И опять, опять снега  
Замели следы...

Над пустыней снежных мест  
Дремлют две звезды.

И поют, поют рога.  
Над парами злой воды

Вьюга строит белый крест,  
Рассыпает снежный крест,  
Одинокий смерч.

И вдали, вдали, вдали,  
Между небом и землей  
Веселится смерть.

С другой стороны, в эти же годы созданы такие прославленные шедевры, как «Девушка пела в церковном хоре...», «В голубой далекой спальне...», «Незнакомка», ставшая «визитной карточкой» Блока в истории литературы, «В октябре», «Балаганчик», «О, весна без конца и без края...». Блок в этих стихах и страшен, и чарующ, и — иногда — обескураживающе прост и прозрачен. Мир пронизан символами и иномирными соблазнами, и в то же время это очень конкретный мир темных кабачков Каменноостровского проспекта (завсегдаем которых стал поэт в те годы) и убогих петербургских мебелирашек.

Все, все по старому, бывалому,  
И будет как всегда:  
Лошадке и мальчишке малому  
Не сладки холода.

Да и меня без всяких поводов  
Загнали на чердак.  
Никто моих не слушал доводов,  
И вышел мой табак.

А все хочу свободной волею  
Свободного житья,  
Хоть нет звезды счастливой более  
С тех пор, как запил я!

Уже в «Стихах о Прекрасной Даме» видна связь с романтической традицией. Символизм противопоставлял себя не только бескрылому позитивизму второй половины XIX века, но и выродившемуся, сведшемуся к слащавым клише позднему романтизму. В то же время в творчестве некоторых символистов и вообще ранних модернистов (и здесь, наряду с Блоком, можно вспомнить великого ирландца У.Б. Йейтса) высокая романтическая нота получила второе дыхание. Ранний Блок связан с немецкой романтической традицией, с такими поэтами, как, к примеру, Новалис. Эта традиция воспринята и непосредственно, и через Жуковского, раннего Тютчева, того же Соловьева. В то же время тонкий эмоциональный импрессионизм Блока идет от Фета, у зрелого Блока чувствуются ноты более «расхожие», в русской поэзии лежащие практически на поверхности — ноты Байрона, Гейне, Лермонтова, наконец, прямые отголоски «жестокостного», цыганского романса. Всему этому поэт придает новый модус, интегрирует в более сложную и трагическую модернистскую картину мира. При этом он с большим уважением отзывается о Полонском, пишет предисловие к посмертному собранию стихотворений другого «последнего ро-

мантика» — Аполлона Григорьева. Для Блока это прорыв к живой, подлинной жизни, глубинной русской жизни, далекой от сухой и сковывающей человека интеллигентской идейности. В своем стремлении к этой эмоциональной подлинности Блок не боится банальности, он сознательно скользит по ее грани, рассчитывая лишь на свое природное чувство интонации — и одерживает победу:

Не знаю, где приют своей гордыне  
Ты, милая, ты, нежная, нашла...  
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,  
В котором ты в сырую ночь ушла...

В стихах третьего тома (1907–1916) особенно видны полюса поэзии Блока. С одной стороны — напряженная и пышная романтическая драма (вспомнить хотя бы великолепный ритм «Шагов Командора»), с другой — осознание реальности во всей ее простоте и безнадежности:

Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала  
И повторится все, как встарь:  
Ночь, ледяная рябь канала,  
Аптека, улица, фонарь.

Для осознания диапазона зрелой блоковской лирики стоит сравнить между собой его любовные стихи 1910-х. Вот — вершина романтического напряжения, пик тревожной страсти:

Черный ворон в сумраке снежном,  
Черный бархат на смуглых плечах.  
Томный голос пением нежным  
Мне поет о южных ночах.

В легком сердце — страсть и беспечность,  
Словно с моря мне подан знак.  
Над бездонным провалом в вечность,  
Задыхаясь, летит рысак.

Сравним стихотворение «Седое утро» (1913). Здесь речь идет о «прозаическом» прощании («... и взгляд — как уголь под золой, и голос — утренний и скучный») — и лишь под конец появляется неожиданная лирическая нота:

Я молча на нее гляжу,  
Сжимаю пальцы ей до боли...  
Ведь нам уж не встречаться боле.  
Что ж на прощанье ей скажу?..  
«Прощай, возьми еще колечко.  
Оденешь рученьку свою  
И смуглое свое сердечко  
В серебряную чешую...  
Лети, как пролетала, тая,  
Ночь огневая, ночь былая...

Ты, время, память притуши,  
А путь снежком заporоши».

Еще удивительнее впечатление, которое производит сравнение страстного, романтического цикла «Кармен» (1914–1915), посвященного актрисе Л.А. Дельмас, и прощальных стихов, обращенных к ней же:

Превратила все в шутку сначала,  
Поняла — принялась укорять,  
Головою красивой качала,  
Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,  
Неожиданно все позабыв.  
Вдруг припомнила все — зарыдала,  
Десять шпилек на стол уронив.

Мандельштам, сравнивая Блока с другими символистами, писал: «Это живая ртуть, у него и тепло и холодно, а там всегда жарко». В своем обращении к по видимости обыденному и будничному, побудничному трагичному (которое остается тревожным и тревожащим, сквозь которое проступают иные миры) Блок подхватывает эстафету еще одного поэта — Николая Некрасова.

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали желтые и синие;  
В зеленых плакали и пели...

... Так мчалась юность бесполезная,  
В пустых мечтах изнемогающая...  
Тоска дорожная, железная  
Свистела, сердце разрывая...

Так Блок подводит итог всем традициям русской поэзии предшествующих поколений, в каком-то смысле закрывает их и берет из них то, что необходимо для будущего.

Блоку в зрелые годы чужда была и символистская концепция поэта-мага, живущего только исключительными «мигами» и свободного от человеческих обязательств. Но выдвинутая акмеистами концепция поэта-мастера его не привлекает. Поэт у Блока — тайновидец, его творческая работа — что угодно, но не «ремесло», но в то же время он человек, несущий обычный человеческий крест. Он трубадур Гаэтан из пьесы «Роза и крест», и в то же время «рыцарь-несчастье Бертран» из той же пьесы. Он герой пьесы «Незнакомка», посетитель прозаического кабачка и еще более прозаической буржуазной гостиной, тщетно устремленный за загадочной возлюбленной-звездой. Его избранничество сродни проклятью:

... Ведь я не насильник,  
Не обманщик и не гордец,  
Хотя много знаю,  
Слишком много думаю с детства  
И слишком занят собой.  
Ведь я — сочинитель,

Человек, называющий все по имени,  
Отнимающий аромат у живого цветка.

Что Блоку было враждебно всегда — это дух буржуазного благополучия и интеллектуального самодовольства или то, что ему таковым казалось. Это обусловило его позицию в политических треволнениях его времени. В начале революции 1905 года он сочувствует либеральным центристам — кадетам, затем эволюционирует влево. О его позиции свидетельствует его письмо В. Розанову от 17 февраля 1909 года: «Не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя кровь говорит мне, что смертная казнь и всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное, и потому я (это — непосредственный вывод, заметьте, тут ни одной посылки для меня не пропущено) не желаю встречаться с Пуришкевичем или Меньшиковым, мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская эпитахиль или поповская ногайка. Все это мне по крови отвратительно». В ответ на замечание корреспондента, что именно революционный террор развязал цепную реакцию насилия, Блок отвечает еще резче: «Так сильно озлобление (коллективное) и так чудовишно неравенство положений — что я действительно не осужу террора сейчас... Как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что:



1) революционеры, о которых стоит говорить (а таких — десятки), убивают, как истинные герои, с сиянием мученической правды на лице (прочтите, например, 7-ю книжку «Былого», недавно вышедшую за границей, — о Каляеве), без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни, 2) что правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, ни в чем не повинных и падающих в обморок офицеров, не могущих, как нервная барышня... из Медицинского института, видеть крови, бледнеющих солдат и геморроидальных «чинов гражданского ведомства» — посылает «расстрелять», «повесить», «присутствовать при исполнении смертного приговора».

В то же время в окружении Блока были и люди крайне правых взглядов (брат его жены, Иван Менделеев, да и тот же Розанов, при всей противоречивости его позиции). Блока сближала с ними идея «особого пути» России. Вслед за Владимиром Соловьевым он верил в «желтую опасность», в потенциальную агрессию Азии; от славянофильской традиции унаследовал неприязнь к «плоской» западной модели. Русская жизнь для него таила загадочные и нереализованные возможности, хотя он отлично знал цену многим ее проявлениям (вспомним беспощадное и в то же время полное любви стихотворение — «Грешить бесстыдно, непробудно...»). Не чужд он был (мягко говоря) и антисемитизма (который он

проявлял в основном у себя в дневнике и который не помешал ему, к примеру, в 1913 году, не без колебаний, подписать письмо в защиту Менделя Бейлиса). С другой стороны, антибуржуазные настроения не помешали ему написать стихотворение «Новая Америка» (1913), в котором поэтизируется урбанизация и модернизация России.

Но история пошла по иному пути. Начинается Первая мировая война. На общей волне патриотической эйфории и Блок пишет стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем...», но оно оказывается неожиданно тревожным и невеселым.

Эта жалость — ее заглушает пожар,  
Гром орудий и топот коней.  
Грусть — ее застигает отравленный пар  
С галицийских кровавых полей.

В воспоминаниях Ахматовой о Блоке есть такой эпизод: «А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев». Блок в самом деле был призван в июле 1916 года, но в боях не участвовал, а служил десятником на рытье окопов в окрестностях Пинска. 29 октября он пишет писателю Леониду Андрееву: «Может быть,

что-нибудь и выйдет из этого, когда пройдут годы: из нежной любви к лошади и стыда перед рабочими, которыми я ведаю; среди них много несомненного хамья и природной сволочи, но стыдно до тошноты, и чего — сам плохо знаешь: кажется, того, что все равно «ничего не поделаешь» (не вылечишь, не обуешь)». В начале мая 1917 года Блок добился перевода в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств» в должности редактора. По материалам работы этой комиссии Блок написал книгу «Последние дни императорской власти» (1919).

Глубокое разочарование в войне (вместе с обострившимся духовным экстремизмом) определило отношение Блока к Октябрьскому перевороту. В статье «Интеллигенция и революция» (1918) он призывает «слушать музыку революции» и не обращать внимания на ее эксцессы.

«Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, — не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, — не царь. Кремли у нас в сердце, цари — в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой.

Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?»

Но сложную смесь потрясения, восторга и шока вызвала не эта статья, а опубликованная в 1918 году поэма Блока «Двенадцать». Это не просто «гимн революции» — речь идет о вещах более глубоких и страшных. Красногвардейцы, герои поэмы — те, кого сейчас назвали бы «гопниками», воплощение темного, грубого, мрачного, ничуть не романтического окаянства:

Ох ты, горе-горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!

Ужь я времячко  
Проведу, проведу...

Ужь я темячко  
Почешу, почешу...

Ужь я семячки  
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком  
Полосну, полосну!..

Но как в 1914 году Блок готов был увидеть некий свет в грешащем «бесстыдно, непробудно» лавочнике, так в 1918-м он идет еще дальше: красногвардейцы, грабители и убийцы — не кто иной, как апостолы, «Петька» — не только Пьеро, но и Петр-ключник, а впереди Двенадцати идет незримый Христос. Этот образ восходит к гностицизму — к еретическим учениям первых веков христианства, с их апологетикой унижения, тьмы, греха, ущербности, лишь приближающих, с точки зрения гностических учителей, человека к подлинному Богу. При этом чисто литературно «Двенадцать» — шедевр. Блок виртуозно играет с ритмами и с чужой речью. Пронизывающий зимний ветер, обрывочные разговоры на улице, наконец, грубый и разудалый ритм частушек — все это работает в унисон и создает совершенно inferнальное ощущение:

Помнишь, Катя, офицера —  
Не ушел он от ножа...  
Аль не вспомнила, холера?  
Али память не свежа?  
Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила —

С солдатъем теперь пошла?  
Эх, эх, согреши!  
Будет легче для души!

Создается впечатление, что Блок сам испугался своей поэмы. Но отказаться от нее он не желал — хотя старался оторвать ее от непосредственно политического контекста. В 1920 году он формулировал это так:

«Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь), например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги или друзья моей поэмы».

Одновременно с «Двенадцатью» написано стихотворение «Скифы», пронизанное мыслью об особом пути России, стоящей между Западом и Востоком, России, выражением которой является революция и которая «в последний раз» предлагает «братство» западному «старому миру». Стоит заметить, что и «Двенадцать», и «Скифы» написаны в течение одной недели — между 25 и 30 января 1918 года. После этого Блок как поэт в течение трех лет практически ничего не пишет (творчески бесплоден

был и 1917 год). Его отношение к новой власти резко меняется. В феврале 1921 года, в годовщину смерти Пушкина, он произносит речь «О назначении поэта», в которой почти прямо высказывает свое отношение к ней:

«Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это — не особенно лестно; люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света»...

Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта:

на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость: или совесть, — неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?»

В том же году, в написанном, казалось бы, на случай стихотворении «К Пушкинскому дому» Блок вновь обращается к «светлому имени», пытаясь найти в нем опору в по-новому «страшном мире»:

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!

При всем этом Блок продолжал с новой властью сотрудничать. Он работал в основанном Горьким издательстве «Всемирная литература», много (хотя без большого увлечения) переводил, возглавлял Большой Драматический театр, наконец, был избран председателем Петроградского союза поэтов. Репутация «революционного поэта», которой он был обязан «Двенадцати», в определенной степени защищала его от властей, но работа в Союзе поэтов привела его к соперничеству с Николаем Гумилевым. Первоначально дружелюбные и уважительные отношения поэтов сменились напряженными. Несмотря на то что Блок высоко ценил поэзию Ахматовой, а в кон-



це 1920-го оценил и Мандельштама, он написал незадолго до смерти резкую, направленную против акмеистов статью «Без божества, без вдохновенья», в которой литературные претензии смешались с личными обидами.

К тому времени на настроение Блока все больше влияло его физическое состояние. Еще до революции он, высокий, сильный человек, во многом подорвал свое здоровье бурным образом жизни. Недоедание, лишения, а главное — моральные переживания послереволюционных лет изнурили его. Весной 1921 года у него стал развиваться эндокардит. Блок ходатайствовал о выезде на лечение в Финляндию, но разрешение было получено слишком поздно, и о выезде уже не могло быть речи.

Блок умер 7 августа 1921 года.

Вот как вспоминал про его похороны критик Владимир Вейдле:

Нас было много. Гроб мы несли на руках, сменяясь по четверо, от дома на Офицерской до Смоленского кладбища. Вспоминая об этом, слышу внутри себя его голос, читающий «Возмездие», и чувствую до сих пор на плече тяжесть его гроба. Два раза со мной рядом нес его Андрей Белый, и мне казалось, что своими водянистыми, зелено-прозрачными глазами он смотрит прямо перед собой и не видит никого и ничего. Помню бледность Ахматовой и ее высокий силуэт над открытым гробом, в церкви, после отпеванья, когда мы все еще раз подходили и прощались с ним...

Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше — за всю страну и отозвавшееся по всей стране — значило все-таки не одно это, не одним этим было вызвано. Провожая его к могиле, мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, что было ему и нам всего дороже, все, что сделало его тем, чем он был, и что сделало нас, все, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разрушена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в русской поэзии, все равно, говорит ли эта поэзия прозой или стихами».

Россию и русскую поэзию хоронили не раз. Сегодня Блок — один из залогов если не бессмертия, то долговечности того, что нам в ней дорого. Со всеми своими противоречиями и блужданиями, со всей своей человечностью и прямоотой он и через столетие после смерти живее, чем это, возможно, казалось в иные годы.

*Валерий Шубинский*

## ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ

Из цикла «*Ante Lucem*»<sup>1</sup>  
(1898—1900)

SERVUS — REGINAE<sup>2</sup>

Не призывай. И без призыва  
Приду во храм.  
Склонюсь главою молчаливо  
К твоим ногам.

И буду слушать приказанья  
И робко ждать.  
Ловить мгновенные свиданья  
И вновь желать.

Твоих страстей повержен силой,  
Под игом слаб.  
Порой — слуга; порою — милый;  
И вечно — раб.

14 октября 1899

---

<sup>1</sup> До света (*лат.*).

<sup>2</sup> Слуга — царице (*лат.*).

Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме»  
(1901—1902)

\* \* \*

Я вышел. Медленно сходили  
На землю сумерки зимы.  
Минувших дней молодые были  
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,  
И пели с ветром о весне...  
И тихими я шел шагами,  
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!  
Под вашу песнь из глубины  
На землю сумерки сходили  
И вечности вставали сны!..

25 января 1901  
С.-Петербург



\* \* \*

Я жду призыва, ищу ответа,  
Немеет небо, земля в молчаньи,  
За желтой нивой — далёко где-то —  
На миг проснулось мое воззванье.  
Из отголосков далекой речи,  
С ночного неба, с полей дремотных,  
Всё мнятся тайны грядущей встречи,  
Свиданий ясных, но мимолетных.  
Я жду — и трепет объемлет новый,  
Всё ярче небо, молчанье глуше...  
Ночную тайну разрушит слово...  
Помилуй, боже, ночные души!  
На миг проснулось за нивой, где-то,  
Далеким эхом мое воззванье.  
Всё жду призыва, ищу ответа,  
Но странно длится земли молчанье...  
*7 июля 1901*

\* \* \*

Имеющий невесту есть жених, а друг  
жениха, стоящий и внимающий ему, ра-  
достью радуется, слыша голос жениха.

*От Иоанна III, 29*

Я, отрок, зажигаю свечи,  
Огонь кафельный берегу.  
Она без мысли и без речи  
На том смеется берегу.  
Люблю вечернее моление  
У белой церкви над рекой,  
Передзакатное селенье  
И сумрак мутно-голубой.  
Покорный ласковому взгляду,  
Любуюсь тайной красоты,  
И за церковную ограду  
Бросаю белые цветы.  
Падет туманная завеса.  
Жених сойдет из алтаря.  
И от вершин зубчатых леса  
Забрезжит брачная заря.  
*7 июля 1902*

\* \* \*

Вхожу я в темные храмы,  
Совершаю бедный обряд.  
Там жду я Прекрасной Дамы  
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны  
Дрожу от скрипа дверей.  
А в лицо мне глядит, озаренный,  
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам  
Величавой Вечной Жены!  
Высоко бегут по карнизам  
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,  
Как отрадны Твои черты!  
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,  
Но я верю: Милая — Ты.

*25 октября 1902*



\* \* \*

Мне страшно с Тобой встречаться  
Страшнее Тебя не встречать.  
Я стал всему удивляться,  
На всем уловил печать.

По улице ходят тени,  
Не пойму — живут, или спят.  
Прильнув к церковной ступени,  
Боюсь оглянуться назад.

Кладут мне на плечи руки,  
Но я не помню имен.  
В ушах раздаются звуки  
Недавних больших похорон.

А хмурое небо низко —  
Покрыло и самый храм.  
Я знаю: Ты здесь. Ты близко.  
Тебя здесь нет. Ты — там.

*5 ноября 1902*

Из цикла «Распутья»  
(1902—1904)

\* \* \*

Я их хранил в приделе Иоанна,  
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —  
Венец трудов — превыше всех наград.

Я скрыл лицо, и проходили годы.  
Я пребывал в Служеньи много лет.

И вот зажглись лучом вечерним своды,  
Она дала мне Царственный Ответ.

Я здесь один хранил и теплил свечи.  
Один — пророк — дрожал в дыму кадил.

И в Оный День — один участник Встречи —  
Я этих Встреч ни с кем не разделил.

8 ноября 1902

## ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Он вчера нашептал мне много,  
Нашептал мне страшное, страшное...  
Он ушел печальной дорогой,  
А я забыла вчерашнее —  
забыла вчерашнее.

Вчера это было — давно ли?  
Отчего он такой молчаливый?  
Я не нашла моих лилий в поле,  
Я не искала плакучей ивы —  
плакучей ивы.

Ах, давно ли! Со мною, со мною  
Говорили — и меня целовали...  
И не помню, не помню — скрою,  
О чем берега шептали —  
берега шептали.

Я видела в каждой былинке  
Дорогое лицо его страшное...  
Он ушел по той же тропинке,

Куда уходило вчерашнее —  
уходило вчерашнее...

Я одна приютилась в поле,  
И не стало больше печали.  
Вчера это было — давно ли?  
Со мной говорили, и меня целовали —  
меня целовали.

*23 ноября 1902*

\* \* \*

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку  
Сердца — невестой быть мне могла.  
Когда я, смеясь, предложил ей руку,  
Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили  
Никому не известные годы и сроки.  
Мы редко встречались и мало говорили,  
Но молчанья были глубоки.

И зимней ночью, верен сновиденью,  
Я вышел из людных и ярких зал,  
Где душные маски улыбались пенью,  
Где я ее глазами жадно провожал.

И она вышла за мной, покорная,  
Сама не ведая, что́ будет через миг.  
И видела лишь ночь городская, черная,  
Как прошли и скрылись: невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный —  
Мы встретились в храме — в глубокой тишине.  
Мы поняли, что годы молчанья были ясны,  
И то, что свершилось, — свершилось в вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий  
Полна моя душевная, песенная грудь.  
Из этих песен создал я зданье,  
А другие песни — спою когда-нибудь.

*16 июня 1903. Vad Naubeim*

\* \* \*

Пристань безмолвна. Земля близка.  
Земли не видно. Ночь глубока.

Стою на серых мокрых досках.  
Буря хохочет в седых кудрях.

И слышу, слышу, будто кричу:  
«Поставьте в море на камне свечу!

Когда пристанет челнок жены,  
Мы будем вместе с ней спасены!»

И страшно, и тяжело в мокрый песок  
Бьют волны, шлют волны седой намек...

Она далёко. Ответа нет.  
Проклятое море, дай мне ответ!

Далёко, там, камень! Там ставьте свечу!  
И сам не знаю, я ли кричу.

*Июль 1903. С. Шахматово*

\* \* \*

Когда я уйду на покой от времен,  
Уйду от хулы и похвал,  
Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,  
Которым я цвел и дышал.

Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла,  
Которое билось во мне,  
Когда подходила Ты, стройно-бела,  
Как лебедь, к моей глубине.

Не я возмущал Твою гордую лень —  
То чуждая сила его.  
Холодная туча смущала мой день, —  
Твой день был светлей моего.

Ты вспомнишь, когда я уйду на покой,  
Исчезну за синей чертой, —  
Одну только песню, что пел я с Тобой,  
Что Ты повторяла за мной.

*1 ноября 1903*



\* \* \*

Мой любимый, мой князь, мой жених,  
Ты печален в цветистом лугу.  
Повиликой средь нив золотых  
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны на лету  
Бледно-белым прозрачным цветком,  
Ты сомнешь меня в полном цвету  
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи, —  
Я огонь для тебя сберегу.  
Робко пламя церковной свечи  
У заутрени бледной зажгу.

В церкви станешь ты, бледен лицом,  
И к царице небесной придешь, —  
Колыхнусь восковым огоньком,  
Дам почуять знакомую дрожь...

Над тобой — как свеча — я тиха,  
Пред тобой — как цветок — я нежна.  
Жду тебя, моего жениха,  
Всё невеста — и вечно жена.

*26 марта 1904*

## МОЛИТВЫ

Наш Арго!

*Андрей Белый*

## 1

Сторожим у входа в терем,  
Верные рабы.  
Страстно верим, выси мерим,  
Вечно ждем трубы.

Вечно — завтра. У решетки  
Каждый день и час  
Славословит голос четкий  
Одного из нас.

Воздух полон вздыханий,  
Грозových надежд,  
Высь горит от несмыканий  
Воспаленных вежд.

Ангел розовый укажет,  
Скажет: «Вот она:

Бисер нижет, в нити вяжет —  
Вечная Весна».

В светлый миг услышим звуки  
Отходящих бурь.  
Молча свяжем вместе руки,  
Отлетим в лазурь.  
*Март — апрель 1904*

## ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!

*Из цикла**«За гранью прошлых дней»*

\* \* \*

Неправда, неправда, я в бурю влюблен,  
Я люблю тебя, ветер, несущий листы,  
И в час мой последний, в час похорон,  
Я встану из гроба и буду, как ты!

Я боюсь не тебя, о, дитя, ураган!  
Не тебя, мой старый ребенок, зима!  
Я боюсь неожиданно колющих ран...  
Так может изранить — лишь Она... лишь  
Сама...

Сама — и Душой непостижно кротка,  
И прекрасным Лицом несравненно бела...  
Но она убьет и тебя, старина, —  
И никто не узнает, что буря была...

*10 июня 1903. Vad Nauheim*

## ВСТУПЛЕНИЕ

Ты в поля отошла без возврата.  
Да святится Имя Твое!  
Снова красные копыя заката  
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели  
В черный день устами прильну.  
Если все мольбы отзвенели,  
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —  
Уж не мне глаза разомкнуть.  
Дай вздохнуть в этом сонном мире,  
Целовать излучённый путь...

О, исторгни ржавую душу!  
Со святыми меня упокой,  
Ты, Держащая море и сушу  
Неподвижно тонкой Рукой!

*16 апреля 1905*

*Из цикла «Разные стихотворения»  
(1904—1908)*

\* \* \*

В голубой далекой спальне  
Твой ребенок опочил.  
Тихо вылез карлик маленький  
И часы остановил.

Всё, как было. Только странная  
Воцарилась тишина.  
И в окне твоём — туманная  
Только улица страшна.

Словно что-то недосказано,  
Что всегда звучит, всегда...  
Нить какая-то развязана,  
Сочетавшая года.

И прошла ты, сонно-белая,  
Вдоль по комнатам одна.

Опустила, вся несмелая,  
Штору синего окна.

И потом, едва заметная,  
Тонкий полог подняла.  
И, как время безрассветная,  
Шевелясь, поникла мгла.

Стало тихо в дальней спальне —  
Синий сумрак и покой,  
Оттого, что карлик маленький  
Держит маятник рукой.

*4 октября 1905*



## АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.  
Во мгле, что со мною всегда на земле.  
За то, что ты светлой невестой была,  
За то, что ты тайну мою отняла.  
За то, что связала нас тайна и ночь,  
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.  
За то, что нам долгая жизнь суждена,  
О, даже за то, что мы — муж и жена!  
За цепи мои и заклятья твои.  
За то, что над нами проклятье семьи.  
За то, что не любишь того, что люблю.  
За то, что о нищих и бедных скорблю.  
За то, что не можем согласно мы жить.  
За то, что хочу и не смею убить —  
Отмстить малодушным, кто жил без огня,  
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,  
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,  
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,  
Что предки мои — поколение рабов,

И нежности ядом убита душа,  
И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,  
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —  
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —  
С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:  
Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!  
Огонь или тьма — впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?  
Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

*17 августа 1906*

Из цикла «Снежная маска»  
(1907)

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

И опять твой сладкий сумрак, влюбленность.  
И опять: «Навеки. Опусты глаза твои».  
И дней туманность, и ночная бессонность,  
И вдали, в волнах, вдали — пролетевшие ладьи...

И чему-то над равнинами снежными  
Улыбнувшаяся задумчиво заря.  
И ты, осенившая крылами белоснежными  
На вечный покой отходящего царя.

Ангел, гневно брови изламывающий,  
Два луча — два меча скрестил в вышине.  
Но в гневах стали звенящей и падающей  
Твоя улыбка струится во мне.

4 января 1907

БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВСЕ,  
ЧТО БЫЛО...

Из цикла «*Страшный мир*»  
(1909—1916)

\* \* \*

С мирным счастьем покончены счёты,  
Не дразни, запоздалый уют.  
Всюду эти щемящие ноты  
Стерегут и в пустыню зовут.

Жизнь пустынна, бездомна, бездонна,  
Да, я в это поверил с тех пор,  
Как пропел мне сиреной влюбленной  
Тот, сквозь ночь пролетевший, мотор.

11 февраля 1910

\* \* \*

Дух пряный марта был в лунном круге,  
Под талым снегом хрустел песок.  
Мой город истаял в мокрой вьюге,  
Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног.

Ты прижималась всё суеверней,  
И мне казалось — сквозь храп коня —  
Венгерский танец в небесной черни  
Звенит и плачет, дразня меня.

А шалый ветер, носясь над далью, —  
Хотел он выжечь душу мне,  
В лицо швыряя твоей вуалью  
И запевая о старине...

И вдруг — ты, дальняя, чужая,  
Сказала с молнией в глазах:  
*То душа, на последний путь вступаю,*  
*Безумно плачет о прошлых снах.*

6 марта 1910  
Часовня на Крестовском острове

\* \* \*

Ночь без той, зовут кого  
Светлым именем: *Ленора*.

*Эдгар По*

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный  
Решал всё тот же я — мучительный вопрос,  
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,  
Вошел тот джентльмен. За ним — лохматый пес.

На кресло у огня уселся гость устало,  
И пес у ног его разлегся на ковер.  
Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало?  
Пред Гением Судьбы пора смириться, сёр».

«Но в старости — возврат и юности, и жара...» —  
Так начал я... но он настойчиво прервал:  
«Она — всё та ж: *Линор безумного Эдгара*.  
Возврата нет. — Еще? Теперь я всё сказал».

И странно: жизнь была — восторгом, бурей, адом,  
А здесь — в вечерний час — с чужим наедине —

Под этим деловым, давно спокойным взглядом,  
Представилась она гораздо проще мне...

Тот джентльмен ушел. Но пес со мной бесшумно.  
В час горький на меня уставит добрый взор,  
И лапу жесткую положит на колено,  
Как будто говорит: *Пора смириться, сёр.*

*2 ноября 1912*